

СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ ВАЛЕРИЕМ ТИШКОВЫМ



Профессор В. А. Тишков, известный российский историк и этнолог, директор Института этнологии и антропологии РАН и бывший Министр по делам национальностей российского правительства. Родился в 1941 г. в городе Нижние Серги Свердловской области в семье школьных учителей, в 1964 г. окончил Московский государственный университет и получил докторскую степень в Институте всеобщей истории АН СССР. Его первые книги были написаны по проблемам ранней североамериканской истории, особенно по истории англо-французских отношений, движения за реформы аборигенного населения в колониальной Канаде (*Начало канадской истории*, 1977; *Освободительное движение в колониальной Канаде*, 1978; *История Канады*, 1982). В.А. Тишков провел обширные полевые исследования во многих регионах Северной Америки, от канадской Арктики до Гавайев, что имело результатом несколько книг о современном положении североамериканских индейцев и создание серийной публикации по проблемам индеанистики.

Тишков Валерий Александрович (1941 г.р.) — доктор исторических наук, профессор, директор Института этнологии и антропологии РАН.

Адрес: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а. Институт этнологии и антропологии РАН.

Тел.: (095) 938-17-47 (служ.).

E-mail: Tishkov@ors.ru

С конца 1980-х гг., после заведования Отделом Америки и избрания директором Института этнологии и антропологии РАН научные приоритеты ученого изменились в сторону изучения отечественных проблем, теории истории и антропологии, методологии общественных наук. Его последние книги *Этничность, национализм и конфликты после Советского Союза* (1997) и *Очерки теории и политики этничности в России* (1997) получили широкое международное признание, равно как и две фундаментальные историко-этнографические энциклопедии *Народы России* (1994) и *Народы и религии мира* (1997) под его редакцией.

Профессор В.А. Тишков является Заслуженным деятелем науки Российской Федерации, получал многие престижные стипендии и гранты, читал лекции в российских и западных университетах. Является вице-президентом Международного Союза антропологических и этнологических наук.

— *С Вашим именем связаны крупные научные разработки в области этнологии и участие в практической политике в качестве министра по национальным отношениям Российской Федерации. Как Вам удалось совмещать две весьма разнородные сферы деятельности, и как долго это продолжалось?*

— В феврале 1992 г. указом Президента я был назначен Председателем комитета по делам национальностей, Министром Российской Федерации и занимал эту должность до середины октября 1992 г., оставаясь на посту директора Института этнологии и антропологии РАН. Новая российская власть понимала необходимость учреждения отдельного правительственного ведомства, которое осуществляло бы государственную политику и управление в сфере межэтнических отношений, если говорить точнее — политику в отношении российских меньшинств (национальностей), или *этническую политику*. Поскольку речь шла о создании нового правительственного ведомства в условиях крайне быстрой и бурной политизации этнических проблем и серьезного кризиса в отношениях федерального центра с этнотерриториальными автономиями (республиками), было необходимо обеспечить не только механизм государственного управления этой сферой общественной жизни, но и выработать обновленные подходы и идеологию этнической политики на основе современного знания, а не старой догматики. Необходимость экспертного обеспечения нового министерства и краткосрочность политической жизни в условиях глубоких перемен побудили меня сохранить за собой должность директора академического института и даже продолжать некоторые научные разработки.

Политика и наука — это действительно две разнородные сферы, две разных формы человеческой деятельности, между которыми всегда должна сохраняться дистанция, но в то же время они не могут существовать друг без друга. Ученый-обществовед вне политики и вне воздействия сферы властных отношений — это миф, который опровергли еще первые авторы летописаний на Руси. Политика без науки, т.е. без должной доктринальной проработки и экспертизы, — это плохая, неэффективная политика, ведущая к неоправданным затратам ресурсов и

порождающая разрушительные коллизии. Хотя я не сторонник старого клише «научного управления обществом» (политика формируется не только наукой, но и другими факторами), я убежден, что нет ничего практичнее для политики, чем хорошая теория. Несостоятельные доктрины, паранаучные конструкции и даже амбивалентный язык порождают амбивалентную политику. Но часто бывает не до академического пуризма, ибо есть инерция массового сознания, амбиции обученных по-старому и не желающих переучиваться, есть эмоционально и политически нагруженная риторика, от которых сразу уйти очень трудно, и поэтому какой-то компромисс науки и политики, ученого и политика неизбежен.

В моем случае этот компромисс-коллизия проходил на уровне одной личности. Уже висевшая на здании госкомитета табличка «Государственный комитет по национальной политике» (комитет был создан до моего назначения) вызывала мое внутреннее несогласие. Я, наверное, был первым и остаюсь в блестящем меньшинстве, кто считает этот ставший фундаментальным (в смысле бытового академизма и повседневного языка) термин неадекватным, ибо «национальная политика» — это политика обеспечения национальных интересов государства и всего общества. Но максимум, что я мог в 1992 г., это исправить название ведомства на «комитет по делам национальностей». Пришедшему мне на смену новому министру снова захотелось иметь слово «политика» в своем арсенале. Даже в таких простых вещах, как название ведомства, может заключаться большой доктринальный смысл, а значит, и содержание государственного управления.

В 1990-е гг. — в период расцвета этнонационализма в стране — осуществить демонтаж термина-демиурга было невозможно. Только десять лет спустя я счел возможным открыто предложить хотя бы на уровне академического языка осторожнее пользоваться термином «национальный», не закрывая путь для его общегражданского и общегосударственного понимания. Думаю, что мы будем двигаться в сторону более корректного обозначения этой сферы социально-политического бытия как «этническая политика» или хотя бы «политика в отношении российских национальностей».

Существовала еще одна трудная коллизия в судьбе ученого, ставшего политиком, — это необходимость выучить нормы и законы политического поведения и освоить стиль государственного управления. Кратко я бы определил это как проблему одногласия и многогласия: министерство должно говорить одним голосом, а для академического сообщества это смерти подобно. Поэтому с утра и вечером в министерстве нужно обеспечивать полное единоначалие и одну позицию (не только в рамках ведомства, но и всего правительства), а днем, побывав в институте, поддерживать принцип академической свободы и самому «расслабляться», соблюдая его. Возможно, второе у меня получалось лучше, ибо косвенно я ощущал упреки в недостатке «технологичности» и «твердорукости». У меня и первая ссора получилась с курировавшим меня вице-премьером В. Махарадзе, когда я впервые за свои тогдашние 50 лет услышал матер-

ные слова в собственный адрес (язык, совершенно обыденный для многих российских политиков).

И все же я, наверное, смог бы терпеть тяжесть совмещения должности, хотя ясно понимал, что «прорастать» в политику, а тем более связывать себя с определенной политической партией не буду. Причиной моего добровольного ухода из кабинета Ельцина-Гайдара (кажется, это был первый случай) стала не столько неприемлемая внешняя ситуация (стиль президента, недостаток понимания и поддержки, ненужные амбициозные соперничества со стороны других «авторов новой национальной политики» и прочее), сколько глубокий внутренний разлад по поводу исполнения законов и указов, которые мне представлялись несостоятельными именно с научной точки зрения. Приведу лишь два примера. Я не завизировал указ Президента о казачестве, но он был подписан Ельциным, и мне было поручено его исполнять. До сих пор считаю, что не выдай я пропуск группе казаков в Кремль на съезд народных депутатов, не помести С.М. Шахрай свое фото в казачьей форме на обложку журнала «Столица», не создай государство кремлевский департамент и другую госбюрократию по делам казачества, эту форму общественной мобилизации можно было бы сохранять на уровне краеведческого движения, а не придавать легитимность низовой мифопоэтике и разрушительной линии на выстраивание суррогата параллельной государственности. Собственно говоря, казачество так и осталось на фольклорно-краеведческом уровне, и дай ему бог хотя бы в таком виде и сохраниться. Зато сколько было затрачено средств, времени и эмоций на неэффективные для государства и власти «игры в казаков».

Собственно говоря, подобной расточительной стратегией молодая российская власть, держатели которой выучились на старых учебниках, придерживалась и в отношении разнообразных форм этнической мобилизации, приняв (не без помощи ученых) за реальность так называемые «национальные движения», «национальные возрождения» как некие глубокие исторические закономерности, определяющие ход общественной эволюции. Тогда, в 1992 г. мне дорого обошлись привычные для современного антрополога фразы типа «нация — это воображаемая общность» или «нация — это тоже племя, но только с армией». Ведь книга Б. Андерсона «Воображаемые общности. Размышления об истоках и распространении национализма» на русский язык была переведена и издана только в 2001 г., да и то ее еще предстоит прочитать нашему академическому и политическому истеблишменту.

Непонимание сложности феномена этничности и его политических проекций чаще всего выдавалось за особую «чувствительность национального вопроса», а управление сферой статусно-символического через те же символические методы и переговорные механизмы вообще было за пределами понимания российского политического клуба. Еще во введении к своей книге «Пожар в умах. Этничность, национализм и конфликты после Советского Союза» (издана в Лондоне в 1997 г. на английском языке) я написал, что «для ученого, ставшего политиком, который действует в сфере повседневного догматизма и драматичных событий,

необходимо уметь проводить различия между мифопоэтической риторикой и реальными интересами». В российских правительственных кабинетах я был не единственным, кто пришел из академической среды, но те, кто имели отношение к сфере межэтнических отношений, этого урока не смогли выучить. Переучивать или противостоять было не в моих силах, и я предпочел отставку.

И все же я смотрю достаточно рационально на опыт работы в правительстве и на саму проблему взаимодействия науки и политики. Во-первых, почти все основные мои идеи и разработки нашли применение, пусть не сразу и не в идеальном виде, что, видимо, и невозможно в реальной жизни. Концепция государственной национальной политики и федеральный закон о национально-культурной автономии, принятые в 1996 г. и составляющие основу современной российской политики в данной области, первоначально были написаны мною (даже сохранились черновики), но в 1992 г. принять их было трудно. С доработками и компромиссами они все же были приняты. У них даже появились многие авторы. И ученый должен быть готов к такому косвенному и запаздывающему воздействию своих идей и политических предложений. Для меня лично пребывание в правительстве было бесценной «полевой работой». Я лучше научился понимать антропологию власти, вовлеченных во власть людей с их достоинствами и недостатками, условия и факторы, воздействующие на власть, существо происходящих в России общественных процессов. Благодаря этому пониманию я не считал возможным уход в оппозицию и продолжаю сотрудничать с властью и оказывать по возможности содействие. Это моя страна и это моя власть, включая те мысли и предложения, которые политики вычитывают из наших текстов.

— Нашим читателям, несомненно, будет интересно узнать, кто Вы как ученый-этнолог и каков был Ваш путь в науку. Что повлияло на Ваш выбор и Ваши приоритеты в профессиональной работе, на Ваше увлечение наукой, точнее, такими ее областями, как этнология, этническая социология, социальная и культурная антропология?

Я окончил в 1964 г. исторический факультет МГУ по кафедре новой и новейшей истории стран Западной Европы и Америки, которой тогда руководили И.С. Галкин и Е.Ф. Язьков. Последнему я особенно благодарен. В начале третьего курса после жестокого спора на семинаре по истории КПСС (сначала я выбрал эту специализацию), когда я, прочитав данную мне тайком американским стажером Мартином Малия книгу Исаака Дойчера «Сталин. Политическая биография», завел речь о репрессиях и тоталитаризме, мне было указано на дверь. Е.Ф. Язьков разрешил тогда мне перейти на его кафедру, и я стал специализироваться в области американистики. Курсовые и дипломные работы писал под руководством ныне покойного Д.Е. Меламида и Г.Н. Севостьянова — ныне здравствующего академика и моего наставника в жизни («Валерий, я Вас сделаю историком», — сказал он мне при нашей первой встрече в 1962 г.).

Я стал историком и остаюсь таковым, хотя в последние два десятилетия интерес к этническому фактору в истории привел меня в другую дисциплину — этнологию или социально-культурную антропологию. Мои первые работы, как и обе диссертации, были написаны по ранней североамериканской истории, точнее, по истории Канады в период английского колониального господства. В аспирантуре моим научным руководителем был ныне покойный академик А.А. Нарочницкий. Он был первоклассным ученым, большим эрудитом и поборником строгого академизма («Писать надо, как было»; «Хорошая работа по истории — это когда можно доверять хотя бы половине сносок»), «Я вместе со своим учеником изучал историю Канады», — сказал он на банкете после моей защиты кандидатской диссертации. Он был прав в том, что давал свободу выбора и интерпретации, и даже не стал настаивать на включении в мой текст ссылок на В.И. Ленина.

Хотя я закончил аспирантуру при МГПИ имени В.И. Ленина, у меня сохранялись связи с Институтом всеобщей истории АН СССР, где сектором Истории США руководил Г.Н. Севостьянов, привлекавший меня к написанию секторальных трудов и статей в «Американский ежегодник». Большое влияние на меня оказал Н.Н. Болховитинов, ныне тоже академик, труды которого по истории США и русско-американским отношениям широко известны в мире.

После нескольких лет преподавательской работы в Магаданском педагогическом институте, куда я сразу уехал после окончания МГУ, и затем аспирантуры, я вернулся в Москву и был принят на работу в Институт всеобщей истории в сектор Истории США и Канады. Почти 5-летний срок работы на Крайнем Севере, в том числе в должности декана историко-филологического факультета пединститута, дали многое в плане расширения профессионального кругозора и жизненной социализации. Достаточно сказать, что моими коллегами-друзьями по работе в Магадане были ныне известный историк-романист Вольдемар Балязин и нынешний редактор журнала «Pro et Contra» М.П. Павлова-Сильванская. А еще была работа со студентами из числа представителей малочисленных народов Севера и из Якутии, что зародило интерес к живой этнографии, а точнее, к культурному многообразию.

В Институте всеобщей истории я проработал несколько лет, и в 1976 г. академик Е.М. Жуков, который был директором института и академиком-секретарем Отделения истории АН СССР, пригласил меня на работу Ученым секретарем Отделения истории. Почти шесть лет были отданы этой достаточно интересной административной работе в аппарате Президиума академии, хотя занятия исследовательской работой по истории Канады мною не прекращались, и в 1979 г. я защитил в Институте всеобщей истории докторскую диссертацию по вышедшей монографии «Освободительное движение в колониальной Канаде». Работа с академиком Жуковым, а после его смерти — с академиками Б.Б. Пиотровским и С.Л. Тихвинским, которые возглавляли Отделение истории, а также общение со многими выдающимися советскими историками и причастность к организационно-координационной работе в области исторических наук

помогали моему профессиональному становлению как ученого-историка. Мною была написана общая «История Канады» и работа науковедческого и историографического характера «История и историки в США».

В те же годы к моим интересам добавляются два новых направления: это сотрудничество с академиком И.Д. Ковальченко в области применения количественных методов в истории и история американских индейцев. Первое не вылилось в какие-то собственные научные разработки и ограничилось работой в рамках совместной советско-американской комиссии по данной проблеме: организации серии международных симпозиумов и двух коллективных монографий советских и американских историков. Тем не менее, знакомство с проблематикой и учеными, занимающимися проблемами социальной и аграрной Истории (в США — это получивший позднее Нобелевскую премию Роберт Фогель, Теодор Рабб, Чарлз Тилли, Натали Зеймон-Дэвис; в СССР — В.З. Дробижев, А.В. Милов, Б.Н. Миронов и др.), усилило мой интерес к методу исторического исследования и к общетеоретическим вопросам социальной эволюции.

С 1982 г. по приглашению академика Ю.В. Бромля я перешел на работу в Институт этнографии АН СССР, где был избран заведующим сектором народов Америки, когда-то возглавлявшийся ученицей Ф. Боаса и замечательной исследовательницей американских индейцев Ю.П. Аверкиевой, а затем краткое время — членом-корреспондентом АН СССР И.Р. Григулевичем. Это был нелегкий переход фактически в другую дисциплину и в другое академическое сообщество, имевшее собственные традиции и лично-профессиональные связи, которые строятся годами в ходе совместных этнографических экспедиций и совместного научного труда. Я с удовольствием стал осваивать этнографический метод исследования и теоретико-методологическую базу отечественной этнографии, занимаясь изучением северо-американских индейцев и других этнических проблем США и Канады. В 1980-е гг., несмотря на существовавшие ограничения в зарубежных поездках, мне удалось провести полевые исследования во многих регионах и общинах этих двух стран (Гавайские острова, Аляска, Калифорния, Британская Колумбия, Квебек, канадская Арктика, район Великих озер и др.). Совместно с коллегами по институту были написаны две книги о современном положении коренного населения Северной Америки, а также было положено начало регулярным симпозиумам по проблемам индеанистики (вышло пять сборников материалов симпозиумов под моей редакцией).

В институте я нашел поддержку со стороны многих выдающихся специалистов: ныне покойного академика В.П. Алексеева, члена-корреспондента С.А. Арутюнова, профессора С.И. Брука и, конечно, Ю.В. Бромля. Исповедуя своего рода методологический индивидуализм и предрасположенность к научным инновациям, я всегда считал одним из принципов научной деятельности внимание к вопросам научной преемственности и воздание должного вклада в науку представителей старшего поколения. Именно по этой причине я провел серию разговоров-интервью с выдающимися представителями отечественной этнологии (Л.П. Потапов, Т.И. Жданко, С.И. Брук, К.В. Чистов, Е.П. Бусыгин), ко-

торую намерен завершить изданием в ближайшем будущем отдельной книги. Эти интервью — своего рода попытка саморефлексии в рамках собственной дисциплины, если хотите, этнография этнографии. Этим же интересом продиктована и моя работа во главе редколлегии серии «Этнографическая библиотека», выпустившей ряд хорошо откомментированных трудов классиков зарубежной и отечественной антропологии и этнологии.

К концу 1880-х годов мною был накоплен большой материал для монографии по проблемам современного статуса коренного населения Американского Севера, но написать этот труд не удалось. Виной тому сама жизнь — события в собственной стране стали более важны и интересны, чем зарубежная тематика. К тому же в 1988 г. я был назначен заместителем директора Института этнографии, а в 1989 г. избран директором этого института. Ситуация в стране и должность определили необходимость заниматься отечественной тематикой, а именно, вопросами межэтнических отношений, так называемой национальной политикой, политической антропологией, этническими конфликтами. Все началось с публикации в 1989 г. статьи «Народы и государство» в журнале «Коммунист» и брошюры «Да изменится молитва моя!.. О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений» (написанной на основе доклада на заседании Секции общественных наук Президиума АН СССР 1 ноября 1989 г.), затем был написан ряд статей об этническом аспекте Съезда народных депутатов и XXVIII съезда КПСС. Уже потом, после 1991 г., последовали более серьезные разработки в области изучения феномена этничности и национализма, а также обновленных подходов в сфере государственной политики в отношении «национального вопроса».

— *Существует ли различие и единство между этнографией, этнологией, этнической социологией и социальной антропологией? В чем они выражаются, и есть ли смысл в самостоятельном развитии этих направлений в современной науке?*

Пожалуй, основной вопрос, который встал передо мной как директором института в условиях глубоких российских трансформаций, был вопрос определения границ и статуса, а также обновления теоретико-методологических основ дисциплины, которая до этого самоидентифицировалась как *этнография* и которая до сих пор остается по ваковской классификации поддисциплиной исторической науки. Мне было ясно, что существующий мировой контекст и номенклатура гуманитарного знания, а также радикальные подвижки в отечественном общественном знании, когда рухнули целые дисциплины и появились новые интересы и новая информация, не оставят в покое так называемую традиционную этнографию. К тому времени я уже достаточно хорошо ориентировался в международном сообществе этнологов и антропологов, приняв участие в мировых конгрессах в Квебеке-Ванкувере (1983 г.), в Загребе (1988 г.) и в Мехико (1993 г.), где я был избран вице-президентом Международного

союза антропологических и этнологических наук и переизбран на новый 5-летний срок на конгрессе в Уильямсбурге (1998 г.).

Казалось, можно было бы жить и в рамках старой вполне достойной научной идентичности, называемой *этнографией*. Мировое сообщество признавало нас, российских этнографов, «своими», т.е. как этнологов и антропологов. И было вроде бы вполне ясно, что зарубежные антропологи, начиная с Ф. Боаса, Б. Малиновского, М. Мид и К. Леви-Стросса, — это представители той же самой науки, что и вышедшие из Музея и Института этнографии отечественные классики В.Г. Тан-Богараз, Л.Я. Штернберг, А.Н. Максимов, Д.К. Зеленин, М.Г. Левин, Л.П. Потапов, В.О. Долгих и др. Однако это было очевидно далеко не всем и далеко не без причины. Все-таки мировая социально-культурная антропология в последние десятилетия ушла далеко вперед в изучении культурного многообразия и давно не ограничивалась пределами этнической проблематики. Российская традиция жестко держала научное сообщество в рамках этнической тематики и этнографического метода. Даже изучая воздействие техногенных катастроф (ядерной аварии на Урале) на местные сообщества, исследователь придавал своему интересу название «этнос и радиация». В рамках нашего института, например, очень трудно приживалась этническая социология, т.е. изучение этничности методами социологического опроса. Правда, нужно отдать должное родоначальникам этого направления (Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, Л.М. Дробичева), которые утвердили это направление в такой степени, что оно стало почти отдельной дисциплиной на стыке двух наук — этнологии и социологии. Хотя сегодняшняя дисциплинарная грань по методу становится достаточно условной, ибо современная «понимающая социология» все больше проявляет интерес к этнографическому методу включенного наблюдения. И все же именно этот метод остается «торговой маркой» нашей дисциплины.

Однако само слово «антропология» к тому времени также обрело амбивалентный смысл. Помимо дисциплинарного обозначения появились теоретико-методологические подходы в других дисциплинах, связанные с комплексным изучением феномена человека (философская антропология), с изучением истории повседневности, историко-культурного контекста больших сообществ (историческая антропология) и т.п. Многим хотелось занять в своем арсенале это привлекательное слово «антропология», даже некоторым телеведущим в названии своих программ. Надо признать, что одновременно и сами антропологи (я имею в виду — зарубежные) непомерно раздвинули собственные научные горизонты, и появилось большое число «новых антропологий». Физическая антропология развилась в огромное число направлений и стала обретать более расширительное обозначение как «биологическая антропология». Более четко выделились и даже конституировались на уровне отдельных научных обществ и комиссий городская, медицинская, политическая, прикладная, юридическая, гендерная, аудиовизуальная антропологии. Сами же западные антропологи начали жаловаться, что теперь антропологией стали называться почти все отрасли гуманитарного знания, и следует более

четко определять собственные дисциплинарные границы, чтобы не потерять дисциплину вообще.

В последние два десятилетия произошла и географическая экспансия антропологии: из преимущественно европейской науки она стала мировой с точки зрения идентификации исследователей и обозначения образовательных институтов. Появились новые сильные национальные антропологические (не этнологические!) школы в странах Азии, Латинской Америки и Африки. Несмотря на то, что в большинстве своем это были выпускники англо-американских элитных университетов, ученые — выходцы из Индии, Китая, Филиппин, Индонезии, арабских и африканских стран — составили новое и неповторимое в своих ориентациях и по своему научному вкладу поколение (Стенли Тэмбайа, Шмадар Лэви, Мариан Цинк, Парта Чатарджи, Акхил Гупта и др.).

Последний бастион — восточноевропейская этнология и этнография — стал рушиться в 1990-е годы, когда многие коллеги в Польше, Венгрии, бывшей ГДР, Чехословакии, Югославии стали называть себя социальными или культурными антропологами, меняя названия институтов, факультетов и кафедр. В 1992 г. по инициативе британского антрополога Адама Купера была создана Европейская ассоциация социальных антропологов (ЕАСА), частично чтобы дистанцироваться от экспансионизма американской антропологии, но и чтобы вобрать в рамки западноевропейской социальной антропологии освободившееся от «коммунистических пут» восточноевропейское научное сообщество. Не случайно первыми участниками учредительного съезда в Коимбре (Португалия) стали именно представители нашего Института этнографии. К сожалению, мне не удалось быть на этом конгрессе и войти в число «отцов-основателей» этой ныне самой мощной ассоциации европейских социальных антропологов. В последние годы на конгрессах ЕАСА отечественные академические этнологи уступают место тем появившимся в стране ученым, которые к своим востоковедческим, историко-лингвистическим, археологическим, политологическим или социологическим самокатегоризациям добавляют антропологическую дефиницию и в целом не выглядят «белыми воронами», когда докладывают добротные результаты научных исследований.

С учетом быстро меняющегося исторического контекста было очевидно, что реконфигурация научной идентичности и смена некоторых приоритетов придут и в Россию. Тем более, что десятки тысяч ученых, лишенных привычных дисциплинарных ниш в рамках марксистско-ленинского и научно-коммунистического комплекса, будут вынуждены искать новые тематические сферы, статус и обозначение. Еще в начале 90-х я пришел к выводу, что если мы сами не осуществим доброкачественную экспансию, то рискуем остаться в «этнографическом кафтане» конца XIX — начала XX в., а антропологами в России станут другие, которые к тому же сами и определят, что есть для них антропология. Так оно во многом и получилось. Выработанные отдельными активными членами обществоведческого сообщества представления и даже «пробитый» через недостаточно компетентное министерское руководство государствен-

ный стандарт обучения по специальности «социальный антрополог» к антропологии имеет весьма условное отношение.

Лишенные амбиций на рынке образовательных услуг и, отчасти, самонадеянные в собственном «величии» российские этнографы сделали всего один важный шаг в направлении собственной модернизации, но и он был сделан не без труда. Это было инициированное мною в самом начале 90-х годов переименование академического Института этнографии в Институт этнологии и антропологии, что неминуемо повлекло изменение названия дисциплины и болезненные коллизии в рамках профессионального сообщества этнографов. Одни видели в смене названия разрушение «классической этнографии», другие вполне охотно принимали это новое обозначение «этнология», третьи были готовы обозначить себя социальным или культурным антропологом, четвертые (физические антропологи) — как были, так и оставались антропологами, немного тревожась, что, помимо их самих, появляются еще и «другие» антропологи.

Моя позиция состояла в том, что подобные смены не должны происходить декретивным образом. Желаящие оставаться этнографами не должны отказываться от этого и называть себя этнологами. Кстати, сам характер труда некоторых специалистов в нашей сфере сосредоточен именно в этнографии. Однако что есть для меня этнография? Этнография — это то, что этнолог или антрополог делает в поле, включая также и сам этнографический нарратив. *Этнография есть цеховая основа дисциплины*, которую называют «этнология» (российская, частично европейская традиция), «социальная антропология» (западноевропейская традиция), «культурная антропология» (североамериканская традиция). Однако в современном мире, в том числе и в России, остается большая категория ученых и практических работников, которые занимаются именно этнографией, при этом не останавливаясь перед «вратами теории», а опираясь на нее и делая эту теорию, но только не в столь самодовлеющем ключе. Прежде всего я имею в виду многочисленный отряд работников этнографических музеев, включая растущее число местных, краеведческих музеев и музеев под открытым небом, и некоторых специалистов, выполняющих разработки в области этнокультурных аспектов производства (художественный промысел, шоу- и мода-бизнес, дизайн-индустрия и пр.) и этнических предпочтений рынка потребления. Есть и кабинетные ученые в академических структурах, которых адекватнее будет определять как этнографов и которые, возможно, слишком успешно отказались от столь достойной дефиниции. Ученый ИЭА РАН, делающий историко-этнографическое обследование Зон хозяйствования коренных малочисленных групп населения для утилитарных целей развития или для экономического и правового обеспечения программ и проектов, «делает этнографию» или «прикладную антропологию».

Именно в целях более широкого понимания данной сферы научной и образовательной деятельности название основной профессиональной ассоциации в стране звучит как «Ассоциация этнографов и антропологов России». Мне представлялось несправедливым 10 лет тому назад, в самом

начале процесса перемен зачислять всех этнографов страны в этнологов. Даже в академическом институте оставались стойкие приверженцы одного старого названия. Сейчас этнолог и этнология чувствуют себя уверенно, и моя собственная озабоченность в данный момент состоит в том, чтобы люди не разучились делать именно этнографию и не утратили к ней вкус. Только что вышедшее в свет мое исследование проблемы общества в вооруженном конфликте имеет на книжном титуле подзаголовок «этнография чеченской войны», ибо из 552 страниц текста около трети составляют «прямые голоса», т.е. свидетельства информантов, научный смысл и воздействующая сила которых нисколько не меньше (а возможно, даже и больше!) собственно авторского текста. Этой книгой я доказал самому себе, что могу заниматься этнографией, причем в ее крайне усложненном варианте недоступности этнографического поля в его традиционном понимании.

Если говорить о смысле раздельного существования этнологии, этнической социологии и социальной антропологии, то этнической социологии как науки не существует, этнология и социально-культурная антропология — это во многом синонимы, хотя поле последней значительно шире, но метод — один.

— Как бы Вы охарактеризовали ситуацию в теоретических и эмпирических исследованиях в России и за рубежом? В каком направлении, с Вашей точки зрения, развивается современная мировая и российская этнология?

Я не делю исследования на теоретические и эмпирические. Лучшая теория делается в виде заметок на полях полевых дневников. Без «эмпирики» трудно получить новое знание, а без нового знания нет научного исследования, а может быть просто умное или поверхностное рассуждение или просвещенная журналистика. Эмпирика без теории — это не исследование, в любой эмпирике есть систематизация и скрытая теория, даже в тексте этикетки этнографического экспоната, не говоря о концепции этнографической выставки.

Ситуация в отечественном общественном знании неоднозначная. Есть ряд дисциплин и направлений, которые занимают лидирующие мировые позиции. Главным образом — это домен так называемых классических штудий в сфере археологии, историографии, языкознания и некоторых других, которые с советских времен пользуются добротной государственной поддержкой. В академической науке последнего десятилетия утвердились новые дисциплины, но основное обновление шло через «возвращение забытых имен» или через перевод и издание зарубежных текстов. Оба эти процесса были нагружены идеолого-политическими установками и некоторыми морально-этическими соображениями (особенно если речь шла о репрессированных ученых). В итоге «навар» для подлинного развития науки не велик. Ликвидация пробелов в форме издания текстов, которые студент был бы обязан прочитать на первом-втором курсах, — это еще не развитие науки. Это даже может быть шаг назад, когда авторы, писавшие

в начале или в первой половине прошлого века, вдруг становятся основными отсылочными авторитетами со всей их безнадежно устаревшей методологией и наивно-романтическими или обскурантистскими (часто расистскими) воззрениями. Так без должной критической оценки были «возвращены» в современный арсенал науки Ильин, Бердяев, Розанов, Соловьев, Федотов, Шпет, Широкогоров и многие другие.

Переводы и новые издания старых текстов даже самых крупных ученых всегда требуют критического анализа с точки зрения современного знания, которое очень быстро развивается. Сегодня переиздавать очень уязвимые даже для своего времени теоретические конструкции Широкогорова по поводу «этнoса» или работу Шпета по так называемой этнопсихологии и не сопровождать их должными комментариями с позиций современной антропологии — означает делать шаг назад, а не вперед. Ибо не каждый рядовой потребитель данных текстов, а тем более студент, способен осуществить критический анализ, и многое в старых текстах воспринимается как некое открытие некогда запретных тем или даже истин.

В отечественном общественном сознании сложилась еще одна серьезная коллизия уже в рамках нынешнего поколения. Десять лет тому назад мне представлялось, что перевод и издание современных зарубежных авторов сами по себе вызовут серьезный пересмотр существовавшей теоретической базы и тематических горизонтов в изучении культуры и общества в их антропологической перспективе. По крайней мере, отход от эссенциалистского, глубоко примордиального видения этнического фактора в условиях блистательных демонстраций социального конструирования культурных различий и этнических мобилизаций (пост)советского времени представлялся неизбежным и скорым. Я даже не стал публиковать свою статью «Реквием по этносу» с критикой так называемой советской теории этноса, чтобы не раздражать своих ближайших коллег излишним эпатажем по поводу одной из «священных коров» отечественной этнографии с начала 1960-х годов. Казалось, что массовая эволюция дисциплины через конкретные исследовательские опыты будет более естественной, чем громкое свержение доминирующей научной парадигмы.

Но я оказался не прав. Произошло обратное — по ряду причин. Этнические лояльности как форма групповой солидарности и политического действия во многом заняли место разрушенных основ коллективных и частных стратегий (социалистическая/коммунистическая риторика, советский патриотизм, «моральный кодекс» и т.п.). Этнонационализм, особенно после распада СССР, был воспринят как «триумф наций» (по выражению французского историка Э. Карера Данкосса), а не как триумф метафоры «триумфа наций». Сконструированное в ходе открытого насильственного конфликта «чеченство» представлялось как проявление до сих пор непознанного и непонятого политиками и военными этноса времен военной демократии, который невозможно подчинить современному закону, а тем более «завоевать». Другими словами, сложные «практики» стали представляться не как политический проект или мобилизация историко-культурного материала для современных целей, а как проявление

ние глубинных, «этногенетических» исторических закономерностей. Само же этническое стало представляться явлением настолько архетипическим, что без обращения к нему уже не могли представить свои занятия не только антропологи, но и историки, социологи, политологи, психологи и даже экономисты.

Массовое вторжение в сферу этнического неопитов от других дисциплин обусловило заимствование имевшегося в этнологии теоретического конструкта в его наиболее упрощенной и привлекательной форме. К хорошо сохранившимся в научных и вузовских библиотеках работам Ю.В. Бромлея добавились миллионные тиражи книг Л.Н. Гумилева, в которых полезная историческая публицистика переплелась с абсолютно несостоятельными конструкциями по поводу этносов и суперэтносов, «пассионарности», «комплементарности» и других проявлений биосоциальности в рамках «геосферы Земли». За этим последовали наскоро написанные словари, справочники, учебники по этнологии, «исторической этнологии», национализму, а этнология в ее наиболее примитивном виде (описание этнических групп по языковым семьям) стала читаться во всех (!) вузах страны неподготовленными для этого преподавателями.

Реванш примордиализма и ортодоксальности был закреплен нетерпимым (на грани ерничества) отношением к таким направлениям в современной гуманитарной мысли, как конструктивистско-инструменталистские подходы и постмодернистские конструкции. Можно только позабавлять энтузиазму представителей старшего поколения, которые не только не сдали ортодоксальных позиций в области изучения «теории этноса» и «национального вопроса», но и написали новые труды, инкорпорируя в них собственное понимание трансформаций последнего десятилетия (см. книги В.И. Козлова, Ю.И. Семенова, М.Н. Руткевича, М.С. Джунусова и других). Но самыми активными оказались так называемые «социальные философы», которые узурпировали социальную антропологию в качестве «новой учебной дисциплины», за которой скрывалась обычная философская антропология в разных ее вариантах (см., например, учебник для вузов В.В. Шаронова*).

Не менее настойчивыми оказались и давние специалисты по «национальному вопросу» из идеологического и образовательного цеха марксизма-ленинизма. Они изобретательно искали новую нишу, вплоть до предложения новой дисциплины «нациология», и в конечной итоге «дожали» Высшую аттестационную комиссию, включив в раздел политологии дисциплину «национальные институты и национальные процессы». Вы будете удивляться, но речь идет не о государственных институтах и не о гражданских общественных процессах, а о сфере этнической политики и ее институциональных формах. Инициаторами выступили преподаватели Российской академии государственной службы, где теперь получают ученые степени специалисты по «национальным» (читай — этническим) проблемам главным образом из российской периферии, воспроизводя пустую риторику Рамазана Абдулатипова и его соавторов.

*Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. М., 1997.

Софистика «национальных проблем» занимает приличное пространство, достаточно просмотреть многочисленные рефераты диссертационных работ, защищаемых в РАГСе, или плохо написанные брошюры от имени Ассамблеи народов России. Причем, в РАГСе царит методологическая нетерпимость по данному вопросу, а уж ссылка на мои работы — это гарантированные «черные шары». Удивительно, как через приверженность несостоятельной теории и дутым авторитетам из числа «профессиональных националов» государственное учреждение воспроизводит язык и специалистов, отрицающих национальные процессы и национальные институты в их общепризнанном значении и тем самым разрушая российскую национальную государственность и российскую национальную общность.

В этой ситуации иногда мне кажется, что в науке чаще происходит и имеет большую значимость не смена теоретических парадигм, а смена поколений. Однако новое поколение — совсем не означает новые взгляды. С эмблемой Института «открытое общество» (Фонд Сороса) и под девизами «Открытая книга. Открытое сознание. Открытое общество» или «Новое поколение российских учебников» вышли или все те же старые варианты учебника по этнографии*, или же хорошо начитанные неофиты сочинили учебники под названием несуществующей дисциплины и с чудовищными нагромождениями по поводу «этноса», «этнической константы», «этнического кода» и этнических процессов, которые «стихийны, бессознательны и не зависят от желания и воли членов этноса»**.

Я уже встречал молодых специалистов, которые называют себя «антропологами», но выучились они по программам и учебникам, которые к данной дисциплине не имеют отношения, а слово «включенное наблюдение» им оказалось неизвестным. В итоге могу сказать, что современная этнология развивается в неопределенном направлении — или в самых разных направлениях.

— Каковы особенности развития современных исследований национальных отношений, этносов? Можно ли говорить о новейшей тенденции превращения этнологии в социальную антропологию?

Я не знаю, что такое «национальные отношения». Если говорить об изучении этнических проблем, в том числе вопросов межэтнических взаимодействий (отношений), то в отечественной науке доминирующим остается историко-этнографический подход, каким он был 20–30 лет тому назад. Если взять тематику диссертаций, защищаемых в стране по специальности «этнография, этнология, антропология», а также основной массив научных книг и наиболее престижных изданий, то здесь есть две стойкие тенденции. Одна из них в том, что в диссертациях научные руководители через своих учеников продолжают реализовывать установку, что где-то на рубеже XIX–XX вв. существовала некая норма традици-

*См.: Этнология / Под редакцией Г.Е. Маркова и В.В. Пименова. М., 1994.

**См.: Лурье С.В. Историческая этнология. М., 1997.

онной культуры, после чего началась ее безнадежная утрата. А всего-то данный феномен связан с тривиальным фактом становления профессиональной этнографии именно на рубеже двух прошлых веков и естественно — вовлечении в исследовательский арсенал прежде всего современных материалов, но современных для своего времени! Значит, этнография должна не только искать утраченную норму-традицию и совершать необходимые исторические экскурсы, но и прежде всего уметь видеть культурные практики современного общества. «Заниматься надо этнографией: иначе все же исчезает!» — сказал мне один выдающийся академик-археолог. Так вот — в этнографии ничего не исчезает, ибо всегда появляется что-то новое и становится тем, что потом назовут «традицией».

Вторая тенденция проявляется в создании историко-этнографических описаний по народам. По предложению покойного Ю.Б. Симченко мы начали в 1990-е гг. новую фундаментальную серию «Народы и культуры», которая на новом уровне и на новых материалах повторяет частично проект «Народы мира», выполненный в 1950–60-е гг. под руководством С.П. Толстого. Большая и отрядная разница двух метапроектов в том, что эти описания создаются представителями научных школ, которые существуют среди самого народа. «Украинцев» написали ученые Украины, «Белорусов» — ученые Беларуси, «Татар» написали татары и т.д. Этнического национализма и теоретических плоскостей в этих трудах хватает, но в них содержится новейший эмпирический материал и полезные коррективы русско-центристской версии национальной истории, имея в виду российское государство во всех его конфигурациях. Эти труды имеют большое общественно-политическое и образовательное значение. Данный проект будет продолжаться, как и будут продолжать выходить отдельные «монографии по народам», содержащие солидные исторические экскурсы.

Так что исследование «этносов» продолжается, но едва ли это будет генеральным научным направлением через десять лет. Сам интерес к «детальному изучению малых сообществ» — основа социально-культурной антропологии — сохранится, но это не обязательно будут этнические группы. Во-вторых, наука, на мой взгляд, должна преодолеть эпитимью «группизма»: антропологи, социологи, политологи должны пойти дальше самодовлеющего понятия группы, будь это этнос, класс, нация, страта, раса, меньшинство и т.п. Группы — это в большинстве своем социальные конструкторы или академические категории, которые все чаще становятся не операциональными как для научного анализа, так и для политики управления. В-третьих, *наука о теоретической практике в культуре и обществе* (так можно попытаться схватить суть социально-культурной антропологии) все больше будет уходить от культурной нормы и типа к культурной сложности и к многокультурности, но только если понимать многокультурность не как суррогат «многонациональности», а как сложность, начинающуюся на уровне личности. Феномен маркутизации (его более изящное академическое определение — *маргинализация*) станет не ругательной литературной метафорой

или наивным желанием ученого «может быть, что-то в консерватории подправить», а предметом исследования того, что уже давно является культурной нормой, а не аномалией.

— *Существуют ли в России самостоятельные научные школы в этнологии и социальной антропологии? Если да, то что они собой представляют?*

Сама по себе российская этнографическая школа может быть названа одним из направлений в мировой этнологической науке. Кстати, в оксфордской «Энциклопедии социальной и культурной антропологии» (1996) имеется моя статья «Российская и советская антропология», которая вполне достойно представляет эту национальную школу, наряду с небольшим числом других национальных школ, удостоившихся отдельных статей. Если говорить о ситуации последних десятилетий (до 1991 г.), то безусловно, при всем доминировании теоретических (Ю.В. Бромлей, В.И. Козлов, А.И. Першиц и др.) и даже методических (С.И. Брук, П.И. Пучков) установок из Москвы, существовали издавна или заново сложились самостоятельные этнографические школы, которые могут быть названы и научными школами в рамках советской этнографии. Это, конечно, армянская, грузинская, украинская школы, а также ленинградская и новосибирская.

После 1991 г. в России скорее складывались не школы, а шла хаотичная, но в целом благотворная экспансия дисциплины или ее частичная узурпация другими дисциплинами. С точки зрения массовости и активности «бромлеевцы» и «гумилевцы» правят бал, хотя мало кто из них отнесет себя к школе с таким названием или вообще к какой-либо научной школе. В нашей академической культуре вообще мало принято задумываться и определять свои методологические позиции: главное во введении (особенно диссертаций) перечислить некий джентльменский набор отечественных и иностранных имен, которые «послужили базой», хотя многие имена в одном ряду, казалось бы, никак не сочетаются. Тем не менее, как мне представляется, сохраняют свое характерное научное лицо Санкт-Петербургские и Новосибирские этнографы и обретают отличия Омская этнография. Почему этнография, а не этнология? Потому что отличительность проходит в основном по тематическому кругозору и полевым методическим предпочтениям. Например, Новосибирск и Омск — это этническая история групп, фольклор, тесная связь с археологией, интерес к ранним стадиям человеческой эволюции. Санкт-Петербург — это традиции африканистики и американистики, семантика и символизм, связь с физической антропологией, обращение к архивной и предметной источниковой базе. Что же касается социально-культурной антропологии, то здесь по большому счету проводить грани пока рано. В этом плане мне лично, например, во многом ближе работы Санкт-Петербургских коллег или московских философских антропологов, чем работы большинства моих коллег по Институту этнологии и антропологии.

— *Как Вы оцениваете уровень современного социологического и антропологического образования за рубежом и в России?*

Уровень антропологического образования в США, Великобритании, Франции, Канаде очень высокий. В Германии — высокий уровень физической антропологии, хорошее этнологическое образование и энергично утверждается социально-культурная антропология через новый институт, созданный в рамках Института Макса Планка (в Галле и Берлине) и возглавленный британским антропологом Крисом Ханном. Хороший уровень антропологического образования в Северной Европе, особенно в Норвегии и Швеции (достаточно назвать имена Томаса Хилланда Эрикссена, Фредерика Барта, Адриано Арчетти, Ульфа Ханнерца, Тони Бринга, Марианн Хейберг и многие другие). Знаменитая нидерландская антропологическая школа несколько уступила свои позиции в последние десятилетия, как и проходит время известной финской этнографии. О южной Европе (Испания, Италия, Греция) смогу судить лучше только после 2001 г., когда во Флоренции пройдет очередной всемирный конгресс этнологов и антропологов. В отношении Восточной (точнее, Центральной и Юго-Восточной) Европы ситуация в области антропологического образования медленно подтягивается к евро-американским стандартам. Хотя на смену некогда господствовавшей этнографии и нового интереса к социально-культурной антропологии рождается новый образовательный синтез. В странах Азии самое сильное антропологическое образование в Японии, затем — в Индии, только после этого можно назвать Китай с Тайванем, Индонезию и страны Арабского Востока (прежде всего Египет и Алжир). В Израиле современного антропологического образования почти нет, но есть хорошие ученые.

— *Способствует ли академическая институционализация этнических и антропологических исследований решению проблем национальных отношений, межкультурных связей в России в 1970—80-х годах и в настоящее время?*

Этнологические и физико-антропологические исследования оказали сильное влияние на общественную жизнь нашей страны, в том числе и на политику. Причем, на всех этапах, начиная с политики коренизации 1920—начала 1930-х гг. и национально-государственного размежевания в Средней Азии в 1930-х гг. Главный вклад ученых уже в последние десятилетия до 1991 г. — это накопление и сохранение знания о культурном многообразии населения государства, трансляция этого знания на массовый уровень, содействие в отстаивании групповой культурной отличительности непризнаваемых групп (талыши, крымские татары, горские евреи и др.). Без этнографов столь благополучное существование этнической мозаики СССР на протяжении почти целого века было бы невозможно. Не исчезли ни одна даже самая малая группа или язык, когда в других регионах мира ассимиляция малых групп имела массовый характер. К репрессиям и депортациям по этническому принципу этнографы не имеют отношения, а вот многие из них самих были репрессированы.

Но нужно говорить не только о пользе этнографии. Именно наша наука дала основные аргументы для разных форм этнонационализма и для основанной на нем постсоветской политики. Именно из среды этнографов и близких им филологов-лингвистов вышли многие лидеры националистических движений, включая проекты вооруженного сепаратизма (Гамсахурдия, Ардзинба, Чочиев, Чибиров — в Грузии; Тер-Петросян, Галстян — в Армении и т.п.). Неосторожное обращение с этнографией и сегодня не гарантирует от неокOLONиалистской установки создавать образ «гордых дикарей» из жителей страны, которые гораздо больше похожи, чем отличны от остальных россиян. Наконец, старомодная этнография и новомодная «историческая этнология» насаждают своего рода *культурный фундаментализм* в российском обществе, которое отличается не просто «уникальной многонациональностью» и несовпадающими «генетическими кодами» этносов, но и культурной гомогенностью вполне модернизированного народа.

— *Каково Ваше нынешнее восприятие атмосферы 1950–80-х годов в Советском Союзе? Что это был за период для Вас лично?*

Мое восприятие 1950–1980 годов в СССР — это восприятие периода собственной сознательной жизни, которая дается человеку только один раз и тем самым является его единственной историей. Это не просто обыденное восприятие, но восприятие, обусловленное моими профессиональными занятиями историка и этнолога, а также личным общественно-политическим опытом. Главное в моем восприятии — это интерес к этнографии советскости как традиции прошлого века, которая имеет равное право на существование, как и традиции прошлых веков. Радикальные трансформации 1990-х гг. привели к революции двойного отрицания, когда вместе с отторжением политического режима и господствовавшей идеологии отторжению и делегитимации подверглись сама прошлая жизнь с ее обыденными регулярностями, которые ничем не отличались в принципе от жизни членов других сообществ, как бы они ни назывались — социалистическими, коммунистическими, тоталитарными или демократическими. Большинство людей в СССР не вступали в ряды КПСС или в группы диссидентов, а пробивались по жизни, как это делают люди во всех условиях. А если и вступали в ряды КПСС, то это совсем не означало обязательность «верного служения», а тем более соблюдения «партийной дисциплины», включая сотрудничество с КГБ при поездках за рубеж или контактах с иностранцами.

Приведу два примера из собственной жизни. Во всех моих статьях и книгах 1960–80 гг., в том числе и в авторефератах кандидатской и докторской диссертаций, не было ссылок на «классиков марксизма-ленинизма», кроме упоминания главы «Систематическая колонизация» из «Капитала» Карла Маркса, которая имеет прямое отношение к характеру колониационного процесса в Канаде (частично на земледельческой основе). И только один раз А.А. Нарочницкий обратил мое внимание на эту «слабость» моей кандидатской диссертации, но не настаивал, чтобы я

добавлял ссылки на Ленина, а тем более на тогдашних партийных руководителей. В идеологических вопросах было много и личного конформизма, самоцензуры, о которых сами люди не любят говорить, оценивая свою прошлую жизнь, предпочитая однозначно возлагать вину на систему. В вышеназванные десятилетия было больше свободы, чем многие из нас ею решались пользоваться.

Точно так же с КГБ и с зарубежными контактами. Начиная с 1967 г., с первой поездки по приглашению сокурсницы в ГДР, я совершил в советские времена много десятков поездок на конференции, в научные командировки в США и Канаду, а затем и в другие страны. В 1973 г., во время моей первой командировки в Канаду (первым по советско-канадскому научному обмену), в одной из столичных газет появилась мерзкая статья «Канада слишком наивна насчет русского шпионажа. Каждый русский профессор должен подозреваться в сотрудничестве с КГБ». В Квебеке за мною следовал по пятам соглядатай, как и десять лет спустя — на Гавайях. Догадываюсь, что мой интерес к франко-канадскому вопросу (а значит, квебекскому сепаратизму) и к индейским «национальным движениям» того времени могли вызывать паранойю среди спецслужб, но свобода от «спецзаданий» (во что с трудом все эти годы верили мои зарубежные коллеги) давала мне внутреннюю свободу поведения в стране изучения, включая запретные для советского ученого чтения, контакты, посещения. Точно так же и в Москве при моих достаточно скромных условиях я старался ответить домашним гостеприимством зарубежным друзьям и коллегам. Многие тогда этого не делали, ссылаясь на запрет, но часто это были просто отговорки или инерция страха. КГБ не был столь вездесущ, и в стране были «окна свободы», в которых действовали те, кто на это решался, без обязательного «сотрудничества». Сейчас могу поклясться на любом тексте: за 30 поездок в США и Канаду в 1970–80 гг. не получал ни одного задания или даже самой скромной «просьбы» от сотрудников КГБ, которые «курировали» академические учреждения. Вот было бы интересно посмотреть на свое досье как на этнографический источник!

Несостоятельность режима и идеологии совсем не означают несостоятельность общества и отсутствие в нем норм морали, социального контроля, культурных проявлений и эмоций, которые представляют огромный интерес. Например, советское культурное и образовательное производство и спонсирование этнического многообразия представляет собой одно из наиболее замечательных достижений человечества в XX веке. Отрицать это под видом постфактической рационализации в форме «распавшейся последней империи» — крайне слабая объяснительная модель того, что было и что произошло во второй половине XX в. на территории исторического Российского государства.

— *Многие проблемы этнокультурной автономии и национальной государственности появились именно в 1980–90-х годах, например, в Карабахе, в Казахстане, в Прибалтике. Как Вы оцениваете идущие с тех пор процессы формирования самостоятельных национальных государств на территории бывшего Советского Союза?*

Я не знаю, что такое «не национальное государство». Все международно признанные государства — члены Организации объединенных наций — считают себя национальными государствами, а значит, таковыми и являются: от Ямайки и Маврикия до Индии и Китая. Этнически однородных государственных сообществ не существует. Есть сложные по составу населения страны, которые имеют разные лингвистическо-политические традиции самокатегоризации. Индия называет себя многоэтнической страной с формулой «единство в многообразии» и понятием «индийская нация», подавляющее большинство членов которой не могут даже общаться друг с другом на едином языке. СССР и нынешняя Россия называли и называют себя «многонациональной» страной, тем самым закрывая возможность воспринимать эти два государства как «национальные». Суть здесь не в формировании чего-то, а в замене смыслов: если в зоне бывшего СССР появится понимание нации как гражданского многоэтнического сообщества (даже наряду с сохранением понимания культурной нации или этнонации), тогда все постсоветские государства и бывший СССР можно называть «национальными государствами», если для кого-то это имеет смысл. С научной точки зрения эта дефиниция — пустая метафора. Как если бы называть государства «белыми», «коричневыми», «голубыми». Итак, в рамках действующей языковой традиции все постсоветские государства — многоэтнические национальные государства. Может быть, на этих территориях и что-то и формируется, но называется это по-другому.

— *Ключевой проблемой российского общества и государства является взаимодействие федеративного центра и регионов. Как Вам видится развитие федеративных отношений в России? Каковы основания строительства современного российского государства?*

Сегодняшние грандиозные дебаты по поводу федерализма выявили прежде всего неоднозначное и противоречивое понимание природы самой субстанции. Под словом *федерализм* обсуждаются и конституируются разные процессы и явления: а) система устройства государства и управления; б) межгосударственные связи и различные формы интеграции на континентальном (прежде всего европейском) уровне; в) формы организации и новая институализация культурно отличительных сообществ и некоторые другие процессы. Для исследователя-обществоведа может даже показаться, что *современный федерализм — это процесс и средство перераспределения власти и ресурсов на государственном и межгосударственном уровнях, улаживания противоречий и соблюдения интересов, обусловленных региональной и культурной спецификой*. Другими словами, федерализм — это прежде всего дебаты и переговоры, а уже потом текст и воплощенные на его основе действия.

Ситуация в России не является исключением, и, наоборот, во многом подтверждает наш тезис. Разговоры по поводу федерализма имеют большее политическое и символическое значение, чем сама политическая практика, которая рутинна или же существует безотносительно от дебатов о

федерализме. Одно дело — обсуждение типов региональных политических режимов под волнующим кровь названием «от вольных орд до ханской ставки» или разработка почти на уровне спецоперации демонтажа «асимметричной» федерации и перехода к «симметричной», подразумевающей наличие в своем составе только административно-территориальных единиц без «этногосударственных субъектов». Еще большее возбуждение (особенно если закрыть глаза или отвернуться от карты страны) вызывает такая «проблема федерализма», как образование «Русской республики», в свое время запущенная Рамазаном Абдулатиповым вместе с соавторами и до сих пор обсуждаемая с разных позиций. Другое дело — это попытка проанализировать то, что я называю «жесткая реальность», и соотнести эти наблюдения с анализом уровня обсуждения. То есть важно не столько само обсуждение проблем российского федерализма, сколько его смысл, формы и участники самих этих дебатов, не говоря уже об их воздействии на «жесткую реальность». Эта дискурсивная практика российского федерализма не менее интересна и не менее важна для понимания сути проблем.

В какой-то мере этот подход определен не только моими современными теоретико-методологическими позициями, он был навеян и моими давними исследованиями в области советского канадоведения 1970–80-х гг. Мне очень хорошо запомнилась встреча в 1973 г. в канадском парламенте с сенатором Юджином Форси — одним из классиков канадского конституционализма, который сказал: «Канадский федерализм — это прежде всего дебаты. Так что, если Вы решили изучать образование Канадской федерации, Вам придется иметь дело больше всего со словами». Юджин Форси оказался прав не только применительно к XIX в., которым я тогда занимался, но и в отношении современной ситуации.

Громкие дискуссии, демонстрации и научные обсуждения 1980—90-х гг. в Канаде по поводу федерализма, политические соглашения и даже состоявшиеся некоторые законодательные тексты и решения, — все это и составляло основной смысл реформы «федерально-провинциальных отношений» и заодно — проблемы Квебека. В сфере жестких субстанций, как, например, Канадская конституция, финансовая и правовая практика, административные устройства, система властного управления, никаких особых изменений не произошло. За исключением выделения из состава административной единицы федерального уровня — Северо-Западных Территорий — самоуправляемой территории Нунавут, где проживает большинство арктического и субарктического аборигенного населения — иннуиты (эскимосы) и индейцы. Скорее трансформировалось смысловое понимание, что есть канадский федерализм, и сменились «низкие» политические практики, а также общественный климат и понимание сути устройства страны, чем изменился сам канадский федерализм как некая жесткая субстанция.

Представляется, что в России этого тонкого различия между *практикой* в ее философском понимании и дебатами по ее поводу не делается, а последним вообще не придается самостоятельного значения, ибо российское обществоведение хорошо усвоило ленинскую «теорию отра-

жения» и глубоко верит в миссию познания, предвидения и вообще «научного руководства обществом». На самом же деле есть ощущение, что российская дилемма «федерализма власти и власти федерализма» как в предшествовавшие годы, так и в новых условиях президентства В.В. Путина — это во многом дискуссия, но дискуссия крайне важная для работы по утверждению эффективного управления сложным обществом в условиях демократии.

— *Вы являетесь автором статьи «Этничность» в международной «Энциклопедии социальной и культурной антропологии». Это понятие широко используется в социальных и политических науках. Как Вы трактуете это понятие, и каков его статус в современной науке?*

Позволю определить, что есть этничность, ибо употребление многими коллегами данного термина вместо слова «этнос» чаще всего ничего не значит. Этничность — широко используемая в науке категория, обозначающая существование культурно отличительных (этнических) групп и идентичностей. В отечественном обществознании широко употребляется термин «этнос» во всех случаях, когда речь идет об этнических общностях (народах) различного историко-эволюционного типа. Понятие этноса предполагает существование гомогенных, функциональных и статичных характеристик, которые отличают группу от других, обладающих иным набором подобных характеристик. Современная концепция этничности подвергает сомнению подобный взгляд на культурную отличительность и обращает внимание прежде всего на ее процессуальную (социально конструируемую) природу, подвижный и многокультурный характер современных обществ, на практическое отсутствие культурных изолятов. Среди ученых также нет единства в подходе к определению феномена этничности, но есть некоторые характеристики, свойственные общностям, которые позволяют считать их этническими или говорить о присутствии этничности как таковой. К числу таких характеристик относятся:

1) наличие разделяемых членами группы представлений об общем территориальном и историческом происхождении, единого языка, общих черт материальной и духовной культуры;

2) политически оформленные представления о родине и особых институтах, как, например, государственность, которые могут считаться частью того, что составляет представление о народе;

3) чувство отличительности, т.е. осознание членами группы своей принадлежности к ней, и основанные на этом формы солидарности и совместные действия.

Важную роль в понимании этничности играет соотнесение социальных и культурных границ, внутренних (эмных) и внешних (этных) представлений, что есть та или иная группа. Характеристики, используемые для определения этнических групп, не могут сводиться к сумме содержащегося в пределах этнических границ культурного материала. Этнические общности определяются прежде всего по тем характеристикам, которые

сами члены группы считают для себя значимыми (или эта значимость навязана извне) и которые лежат в основе самосознания. Таким образом, этничность — это форма социальной организации культурных различий.

Исходя из этого, под понятием «народ» в смысле этнической общности понимается группа людей, члены которой имеют одно или несколько общих названий и общие элементы культуры, обладают мифом (версией) об общем происхождении и тем самым обладают как бы общей исторической памятью, могут ассоциировать себя с особой географической территорией, а также демонстрировать чувство групповой солидарности.

Представление о том, что этничность формируется и этническая общность строится на основе иноэтнического противопоставления «мы — они», является недостаточным. Этничность как компонент индивидуального самосознания и как общеразделяемая коллективная вера определяет себя через фундаментальные связи с другими культурными, социальными и политическими общностями, в том числе государственными. Это означает, что этническое самосознание отличительности не обязательно построено на негативной оппозиции и не обязательно в отношении других этнических общностей, в чем состоит глубокое заблуждение структурализма. Точнее сказать, что *этническая общность (народ, этнос) есть общность на основе культурной самоидентификации по отношению к другим общностям, с которыми она находится в фундаментальных связях.*

Этничность формируется и существует в контексте того социального опыта, с которым связаны люди или с которым они идентифицируются другими как члены определенной этнической группы. С внутригрупповой точки зрения, этничность основывается на комплексе культурных черт, которыми члены этой группы отличают себя от других групп, даже если они в культурном отношении очень близки. Различия, которые они могут проводить по отношению к другим, обычно довольно определенные и многоуровневые, тогда как внешние представления о группе имеют тенденцию к генерализации и стереотипным критериям при определении характеристик групп. Таким образом, во внутренних и внешних определениях этнической группы (народа, этноса) присутствуют как объективные, так и субъективные критерии. Часто бывает, что кровная родственность или другие объективные критерии не играют определяющей роли. Этничность предполагает наличие социальных маркеров как признанных средств дифференциации групп, сосуществующих в более широком поле социального взаимодействия. Эти различительные маркеры образуются на разной основе, включая физический облик, географическое происхождение, хозяйственную специализацию, религию, язык и даже такие внешние черты, как одежда или пища.

Интеллектуальная история термина этничность начинается в 1960-е годы, когда этот концепт стал ответом на изменения в постколониальной геополитике и на движения меньшинств во многих промышленно развитых странах. Появление различных интерпретаций этничности касалось таких разных явлений, как социальные и политические изменения, формирование идентичности, социальный конфликт, расовые отношения,

нации-строительство, ассимиляция и пр. Существуют три основных подхода к пониманию этничности: эссенциалистский (примордиалистский), инструменталистский и конструктивистский.

Примордиалистский подход исходит из того, что этническая идентификация (в отечественном варианте — «национальная принадлежность») основана на глубоких и основополагающих связях с определенной группой или культурой, а значит, и на существовании реальных, осязаемых основ этой идентификации, которые могут рассматриваться или как преимущественно биологические, или как *культурно-исторические* факторы. На этот подход оказал сильное воздействие эволюционизм с его интересом к биологическим, генетическим и географическим факторам. Осознание групповой принадлежности как бы заложено в генетическом коде и является продуктом ранней человеческой эволюции. В крайней форме этот подход рассматривает этничность в категориях социальной биологии как расширенную форму родственного отбора и связи, как изначальный инстинктивный импульс. Схожие построения распространены и в российской литературе в рамках так называемой теории этноса, где социальный биологизм вместе с географическим детерминизмом служит основой крайне уязвимых конструкций «жизни и смерти этносов», их «пассионарности», «психо-ментального комплекса» и пр. Более социально ориентированными, но от этого не менее эссенциалистскими являются доминирующие в российском общественном знании типологические конструкции этносов, субэтносов, метаэтносов, а темы экзогамии этносов как признака и условия их существования или «компонентные» теории этноса присутствуют на уровне учебной литературы.

Культурный вариант примордиализма рассматривает этничность как прежде всего разделяемую членами группы общность с объективными характеристиками принадлежности: территория, язык, экономика, расовый тип, религия, мировоззрение и даже психический склад. Некоторые полагают, что этническая общность имеет первичное значение как социальный архетип, и ее игнорирование в социологии и политике является глубоким заблуждением (Н. Глейзер, Д. Мойнихен, большинство российских авторов). Этничность — это социальная форма групповой лояльности и экзистенциальное значение, проистекающее из человеческой потребности иметь преемственную принадлежность (Ж. Де Вое, Л. Романуччи-Рос). На основе «этнических корней» создается целая генеалогия современных наций (Э. Смит). Для групповых этнических категоризаций широко используются историко-лингвистические классификации (Э. Сапир, Дж. Гринберг), историко-археологические и физико-антропологические реконструкции, которые привязываются к современной номенклатуре этнических групп и к их историческому и пространственному картографированию (С.А. Арутюнов, В.П. Алексеев).

Более современные подходы в рамках этой традиции признают субъективную природу этничности как и любой другой формы групповой социальной идентичности, только обращенной в прошлое и оформленной в современном бытовании через культурно-языковые характеристики. Эти характеристики ученые и этнические активисты прослеживают через

географию и историю той или иной группы. В свою очередь, культурный багаж и его преемственность позволяют находить личное и социальное значение человеческого существования и дают ответ, почему индивид ведет себя и действует в соответствии с определенной традицией. Культурно-языковая или психо-культурная интерпретация этничности в рамках примордиализма также рассматривает этническую идентичность как неотъемлемую психологическую часть «я», а ее изменение — как неестественное, и навязанное человеку. Подобные взгляды на этничность широко распространены в обществах, где этнокультурным различиям придается особая значимость вплоть до ее официальной регистрации государством и даже построения государственности на этнической основе. В рамках этого подхода выполнены основные труды в отечественной этнографии, в том числе и на основе социологического метода анализа (Ю.В. Арутюнян, М.Н. Губогло, А.М. Дробижева). Имеются его авторитетные сторонники в зарубежной науке (У. Коннор, Д. Миллер, Р. Ставенхаген).

В то же время социальное значение этничности включает помимо эмоциональных моментов также и рационально-инструменталистские ориентации. Этничность, как бы пребывая с латентном («спящем») состоянии, вызывается к жизни и используется в целях социальной мобильности, преодоления конкуренции, доминирования и социального контроля, взаимных услуг и солидарного поведения, для политической мобилизации и для достижения гедонистических устремлений. Инструменталистский подход с его интеллектуальными корнями в социологическом функционализме рассматривает этничность как результат политических мифов, создаваемых и манипулируемых культурными элитами в их стремлении к преимуществам и к власти. Этничность возникает в динамике соперничества элит в рамках границ, которые определяются политическими и экономическими реальностями (Р. Брасс). Иногда функционализм обретает психологическую окраску, и тогда манифестации этничности объясняются как средство восстановления утраченной коллективной гордости или как терапия от нанесенных травм (Д. Горовиц).

Все подходы к пониманию этничности не являются обязательно взаимоисключающими. Интеграция наиболее значимых аспектов в цельную теорию этничности наиболее перспективна на основе конструктивистского синтеза, в котором есть чувствительность к контексту. Этничность возможно рассматривать в системе социальных диспозиций и ситуативной зависимости на разных уровнях и контекстуальных горизонтах: транснациональном уровне мировых систем (У. Ханнерц, И. Валлерштайн), в рамках наций-государств с точки зрения «внутреннего колониализма» (М. Хечтер) или «структурного насилия» (И. Галтунг), межгрупповом уровне в контексте теории культурной границы (Ф. Барт) и внутригрупповом в рамках психологических теорий реактивной, символической и демонстративной этничности и стигматизированных идентичностей.

Мне представляется продуктивной разработка подхода к этничности вне «традиционных культурных типов», как культурной гибридности и как множественных лояльностей или как этнического дрейфа. Этот под-

ход позволяет рассматривать не человека в этничности (на отечественном научном жаргоне — «этнофора»), а этничность в человеке, что радикально приближает к более чувствительному и адекватному восприятию «реальности» и к более конструктивному воздействию на этничность в смысле общественного управления.

— *Что означает официально провозглашенное формирование культуры толерантности в российском обществе?*

Если Вас интересует мое понимание толерантности, тогда повторю некоторые из методических положений и рекомендаций, которые я сделал для осуществления программы ЮНЕСКО «Культура мира» в России. После предыдущего, сугубо теоретического ответа, это будет пример «прикладной этнологии», которой мне также приходится заниматься.

В нашей стране проживает сложное по этническому и религиозному составу население, в ней имеют место этнические конфликты и напряженность и сложная религиозная ситуация в ряде регионов страны. Межэтнические противоречия и нетерпимость являются одним из основных препятствий на пути утверждения демократических порядков в России, осуществления социально-экономических преобразований и достижения гражданского согласия. В каких основных сферах должна осуществляться деятельность по обеспечению принципов и климата толерантности? а) По линии органов государственной власти и управления; б) в сфере образования и воспитания; в) в сфере средств массовой информации; г) по линии общественных организаций и других институтов гражданского общества; д) в области научных исследований и прикладного мониторинга. Есть общие принципы и установки, которыми следует руководствоваться в данной работе:

1. В России проживают представители разных национальностей и религиозных убеждений, которые пользуются одинаковыми гражданскими правами и свободами, в том числе правом сохранять и развивать собственную культуру и исповедовать разные религиозные верования.

2. Межэтническое согласие и сотрудничество являются нормой и традицией населения страны, они обеспечивают ее существование и развитие. Граждане России имеют гораздо больше общих историко-культурных ценностей и общественно-политических установок, чем различий на основе религии и национальной принадлежности.

3. Нет больших и малых культур, как и нет природного неравенства представителей разных рас, национальностей и религий. Неравенство и дискриминация порождаются социальными и политическими условиями, а нетерпимость и конфликты возникают под воздействием неправильного воспитания, идеологического воздействия и политической мобилизации.

4. Напряженность и конфликты возникают там, где неблагоприятная социально-экономическая обстановка соединяется с плохим управлением и когда политики и безответственные общественные активисты используют этнический и религиозный факторы для достижения власти и собственного благополучия.

5. Ксенофобия и негативные стереотипы могут возникать среди разных категорий людей и могут носить устойчивый и массовый характер, но есть пути и меры, которые позволяют не допускать или устранять эти явления. Образование в духе культурной и религиозной терпимости является основополагающим средством утверждения толерантности.

6. Государство, его общественное устройство и политика могут создавать институты и климат неравенства и дискриминации, но государство обладает всеми средствами, чтобы обеспечивать межэтническое согласие, и только оно имеет право применять силу для противодействия разжиганию розни и насилия. Государственно-политическое устройство Российской Федерации обеспечивает возможности для равноправия и самоопределения народов в разных формах, а также для религиозных свобод.

7. В утверждении благоприятного климата межэтнических отношений важную роль играют средства массовой информации, профессиональная культура и литература, но через них же могут насаждаться предрассудки и ненависть, а также слухи и призывы, которые могут приводить к конфликтам.

8. Нетерпимость, рознь и конфликты не носят необратимого характера, и они могут устраняться и разрешаться целенаправленными усилиями в достаточно короткое время.

Что могут сделать различные институты, организации, отдельные люди, руководствуясь этими принципами? Приведу здесь только рекомендации в области научных исследований и прикладного мониторинга:

а) необходимо наладить подготовку специалистов и осуществление научных исследований по проблемам мира и толерантности, насилия и конфликтов, в том числе в рамках таких дисциплин, как социальная психология, социально-культурная антропология, этнология, социология, политология и история;

б) создать центры и исследовательские группы междисциплинарного характера, а также организовать издание специальных журналов, серийных публикаций и методической литературы по проблемам мира и конфликтов, рассчитанных как на специалистов, так и на более широкую аудиторию;

в) только ученые могут убедительно показать несостоятельность и общественный вред, а также преступный характер идеологий, программ и действий, которые заключают в себе ненависть и вражду к людям других рас, национальностей и вероисповеданий, и их активная позиция в данном вопросе является частью профессиональной этики;

г) только ученые-специалисты могут установить более глубокие причины и природу нетерпимости и конфликтов и наиболее эффективные средства их предотвращения и разрешения;

д) в самом научном сообществе должна существовать атмосфера осуждения и отторжения тех коллег, кто своими трудами и другой деятельностью способствуют обоснованию расистских и националистических взглядов среди населения, а также тех, кто симпатизирует радикальным активистам и разрушителям общественного порядка и конституционно-правовых основ государства;

е) научные работники могут создавать неформальные сети и организационные структуры, которые осуществляют мониторинг состояния общественного мнения, межэтнических отношений, деятельности политических, общественных и религиозных организаций с целью выявления кризисных ситуаций и выработки прикладных рекомендаций;

ж) научные работники могут и должны больше использовать печать, радио и телевидение для изложения современных положений науки о роли и значении культурных традиций и межэтнического сотрудничества.

Наконец, десять простых истин для утверждения толерантности:

1. Толерантность — это не когда жители города или села спокойно относятся к строительству мечети или синагоги недалеко от православного храма, а когда они все вместе помогают построить новый храм представителям другой веры.

2. Отдельный человек может быть толерантным в отношении близких и друзей любой веры и национальности, но быть ксенофобом и расистом в более широкой общественной среде (на работе, в политике, в творчестве).

3. Терпимость и уважение к другой культуре выражается не в отсутствии к ней негативного отношения, а в стремлении ее познать и использовать то, что является ценным и полезным.

4. Установка на диалог и согласие дается труднее, чем отторжение и вражда, ибо последние не требуют особых усилий по развитию личности и связаны с узким кругозором и невежеством.

5. Ксенофобия и нетерпимость — это свойство не только ограниченных и плохо образованных людей, ими могут обладать и самые просвещенные люди, но только сопровождать свои взгляды и действия более изощренными аргументами.

6. В демократических обществах могут существовать и проявляться самые различные формы нетерпимости, и задача государства и общества — не допускать их крайних, в том числе насильственных форм, которые грозят основам общественного порядка и государственности.

7. С противниками мира и сторонниками насилия следует бороться не только методами публичных кампаний осуждения, но и другими не менее эффективными методами: отказом в публичности, судебными преследованиями, просвещением и включением их в существующие системы институтов власти и гражданского общества.

8. Нетерпимость к нетерпимости может порождать новую нетерпимость и плодить ее новых сторонников. Важнее видеть человека в человеке и постараться воздействовать на его взгляды и поведение.

9. Работа по налаживанию межэтнического согласия и предотвращению конфликтов требует самоотдачи и добрых человеческих качеств, но она может быть результативной, если делается всеми вместе и при поддержке государства.

10. Сильная власть и благополучная жизнь не гарантируют мира и согласия, а конфликты между представителями элит бывают чаще и силь-

нее, чем между простыми людьми, но порядок и благополучие дают больше возможности избежать нетерпимости, насилия и конфликтов.

— *Ваши научные планы?*

В мои научные планы входит издание в этом году дополненного варианта книги «Политическая антропология», поскольку изданная в 2000 г. в США издательством «Эдвин-Меллен пресс» очень малым тиражом и при высокой стоимости, она остается недоступной российскому читателю. Мне бы хотелось издать в 2001 г. небольшую книгу — сборник моей научной публицистики. Предстоит работа с английским изданием книги «Общество в вооруженном конфликте», которая выйдет в издательстве Калифорнийского университета в 2002 г. По гранту фонда Маккартуров предстоит публикация книги «Антропология российских трансформаций». В дальних планах — книга об антропологии сложного общества в состоянии мира (на примере какого региона — пока секрет).

Интервью подготовил и провел В.В. Козловский

СПИСОК ОСНОВНЫХ РАБОТ доктора исторических наук Валерия Александровича Тишкова*

Книги и брошюры

Страна кленового листа: Начало истории. М., 1977. 175 с. (Сер. «Страны и народы»).

Освободительное движение в колониальной Канаде. М., 1978. 384 с.

История Канады. М., 1982. 268 с. (в соавт. с Л.В. Кошелевым).

История и историки в США. М., 1985. 352 с.

Dejiny Kanady. Pr., 1986. 404 с.

Да изменится молитва моя!...: О новых подходах в теории и практике межнациональных отношений: Доклад на заседании секции общественных наук Президиума АН СССР 1 ноября 1989 г. М., 1989. 54 с.

Коренное население Северной Америки в современном мире. М., 1990. 396 с. (отв. ред. и основной автор; соавторы В.П. Алексеев, В.Г. Стельмах и др.).

Тропой слез и надежд: Книга о современных индейцах США и Канады. М., 1990. 317 с. (в соавт. с В.Г. Стельмахом, С. В. Чешко).

Человек и общество глазами современных этнологов и антропологов: По материалам XII Международного конгресса этнологических и антропологических наук. Обзор. М., 1990. 48 с. (в соавт. с В.А. Шнирельманом).

Русские как меньшинство: Пример Эстонии. М., 1992. 21 с. (Сер. «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». Документ № 52).

Русские в Средней Азии и Казахстане. М., 1992. 21 с. (Сер. «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». Документ № 51).

Межнациональные отношения в Российской Федерации: Доклад на заседании Президиума РАН 23 февраля 1993 г. М., 1993. 72 с.

*Наши юбиляры. Валерий Александрович Тишков. К 60-летию со дня рождения // Этнографическое обозрение. 2001. № 6.

Nationalities and Conflicting Ethnicity in Post-Communist Russia // United Nations Research Institute for Social Development. Discussion Paper. 1994. № 52. (Geneva). 51 p.

Россия как многонациональная общность и перспектива межэтнического согласия. М., 1994. 30 с. (Аналитический проект «Россия в третьем тысячелетии». Сер. «Политология». Вып. IV.).

Чеченский кризис: Аналитическое обозрение. Вып. 8. Сер. «Политология». М., 1995, 73 с. (в соавт. с Е.Л. Беляевой, Ф.В. Марченко).

Концептуальная эволюция национальной политики в России. М., 1996. 40 с. (Сер. «Исследования по прикладной и неотложной этнологии». Документ № 100).

Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union. The Mind Aflame. L., 1997. 334 p.

Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997. 532 с.

Understanding Violence for Post-Conflict Reconstruction in Chechnya. Geneva, 2000. 50 p.

Политическая антропология. Lewiston; Queenston; Lampeter, 2000, 338 с. (Сер. «Российские исследования в гуманитарных науках». Т. 14).

Общество в вооруженном конфликте: Этнография чеченской войны. М., 2001. 509 с.

Ответственный редактор и соавтор в коллективных монографиях

Война за независимость и образование Соединенных Штатов. М., 1976. 551 с. (автор трех глав).

Проблемы историографии Канады. М., 1981. 311 с. (отв. ред., автор предисл. и главы).

Количественные методы в советской и американской историографии. М., 1983. 427 с. (отв. ред., соред. и соавтор вступительной статьи И.Д. Ковальченко).

Исторические судьбы американских индейцев: Проблемы индеанистики. М., 1985. 360 с. (отв. ред., автор предисл. и статьи).

Северо-американские индейцы в прошлом и настоящем: Реферативный сб. М., 1985. 389 с. (Сер. «Проблемы всеобщей истории»).

История: Научно-популярные очерки. М., 1985. 96 с. (отв. ред. и соред. С.Л. Тихвинский).

Экология американских индейцев и эскимосов: Проблемы индеанистики. М., 1988. 338 с.

Этнология в США и Канаде. М., 1988. 328 с. (отв. ред., соред. Е.А. Веселкин).

Аграрная эволюция России и США в XIX—начале XX века: Материалы советско-американских симпозиумов. М., 1991. 359 с. (отв. ред.; соред. и соавтор вступительной статьи И.Д. Ковальченко).

Америка после Колумба: Взаимодействие двух миров: Проблемы индеанистики. М., 1992. 271 с. (отв. ред. и автор предисл.).

Этнос и его подразделения. М., 1992. Ч. 1. 183 с.; Ч. 2. 172 с. (отв. ред.; соред. Р.Г. Кузев).

Национальная политика в Российской Федерации: Матер. междунар. науч.-практ. конф. (Липки, сентябрь 1992 г.). М., 1993. 179 с. (отв. ред. и автор вступительного раздела).

Народы России: Энциклопедия. М., 1994. 479 с. (гл. ред.).

Женщина и свобода: Пути выбора в мире традиций и перемен: Матер. междунар. конф. 1993 г. М., 1994. 448 с. (отв. ред. и автор вступительной статьи).

Этничность и власть в полиэтничных государствах: Матер. междунар. конф. 1993 г. М., 1994. 315 с. (отв. ред. и автор статьи).

Американские индейцы: Новые факты и интерпретации: Проблемы индеанистики. М., 1996. 304 с. (отв. ред. и автор предисловия).

Миграции и новые диаспоры в постсоветских государствах. М., 1996. 238 с. (отв. ред.; соавтор вступит. статьи О.Д. Комарова)

Северный Кавказ: Бытовые традиции в XX в. М., 1996. 243 с. (отв. ред., соред. С.В. Чешко).

Северный Кавказ: Этнополитические и этнокультурные процессы в XX в. М., 1996. 200 с. (отв. ред., соред. С.В. Чешко).

Ethnicity and Power in the Contemporary World. Tokyo; New York; Paris, 1996. 298 p. (coed. Kumar Rupesinghe).

Вынужденные мигранты: Интеграция и возвращение. М., 1997. 308 с. (отв. ред., автор введения).

Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997. 490 с. (отв. ред.; соред. М.Б. Олкотт, А. Малашенко; автор предисловия и статьи).

Вынужденные мигранты и государство. М., 1998. 420 с. (отв. ред., автор введ.).

Народы и религии мира: Энциклопедия. М., 1998. 928 с. (гл. ред.).

Расы и народы. Ежегодник. Вып. 24. М., 1998. 311 с. (отв. ред.).

Русские в современном мире. М., 1998. 396 с. (отв. ред.; соред. Е.А. Шервуд).

Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах: Ежегод. докл. М., 1999. 150 с. (отв. ред.; соред. Е.И. Филиппова).

Обычное право и правовой плюрализм: Матер. XI междунар. конгр. по обычному праву и правовому плюрализму. Москва. Август 1997 г. М., 1999. 251 с. (отв. ред. и автор вступительного слова; соред. Н.И. Новикова).

Пути мира на Северном Кавказе: Независимый экспертный доклад. М., 1999. 184 с. (отв. ред., автор вступительной статьи и др. разделов).

Человек и право: Книга о Летней школе по юридической антропологии (г. Звенигород, 22–29 мая 1999 г.). М., 1999. 195 с. (отв. ред. и автор статьи; соред. Н.И. Новикова).

Юридическая антропология: Закон и жизнь. М., 2000. 220 с. (отв. ред. и автор статьи; соред. Н.И. Новикова).

Антропология насилия: Сб. статей. СПб., 2001. 532 с. (отв. ред. и автор статьи; соред. В.В. Бочаров).

Ответственный редактор серий научных изданий

Исследования по прикладной и неотложной этнологии (1990–2001),

Материалы к серии «Народы и культуры» (1990–1998).

Альманах «Российский этнограф» (№ 1–20, 1993).

Библиотека «Российского этнографа» (1993–1999).

Этнологические исследования по шаманству и иным ранним верованиям и практикам (Т. 1–5, 1995–1999).

«Народы и культуры»: Русские. М., 1997. 828 с.; Белорусы. М., 1998. 503 с.; Украинцы. М., 2000. 535 с.; Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000. 579 с.; Татары. М., 2000. 583 с.